

## Глава 9

### Государство и нация

Вам, наверное, приходилось по разным поводам заполнять анкеты, в которых вас просили дать о себе некоторую информацию. Более чем вероятно, что самая первая графа каждой анкеты содержала требование написать свое имя. Речь шла о вашем *личном* имени (фамилии, которую вы разделяете с другими членами вашей семьи, и других именах, которые даны только вам, чтобы отличить вас от других родственников). Именно это имя должно было отличать вас от остальных заполнителей анкеты, указывать только на вас как на индивида, на уникальную, неповторимую личность, не похожую ни на кого другого. Как только была установлена ваша уникальная идентичность, следовали другие вопросы, цель которых заключалась в том, чтобы, напротив, установить те свойства, которые вы разделяете с другими, т.е. локализовать вас в рамках определенных более широких категорий. Кто бы ни составлял эти анкеты, он, судя по всему, рассчитывал, узнав о вашей принадлежности к некоторым категориям — по полу, возрасту, образованию, профессии, месту жительства, получить информацию относительно таких качеств вашей личности, которые, возможно, имеют определенное значение для предположений о вашем нынешнем состоянии или будущем поведении. Авторы анкеты, конечно, были в основном озабочены той частью вашего поведения, которая соотносится или может соотноситься с целями организации, выпускающей анкету и использующей ваши ответы (например, если это была форма для получения кредитной карты или банковской ссуды, то собиравшаяся информация должна была бы позволить банковскому служащему оценить вашу кредитоспособность и риск, который сопряжен с предоставлением вам ссуды).

Многие анкеты содержат вопрос о вашей национальной принадлежности. Вы можете ответить на него “британец”, но можете написать и “англичанин” (“валлиец”, “шотландец”, “еврей” или “грек”). Получается так, что оба ответа правильны, если вопрос касается национальной принадлежности. Но эти ответы относятся к разным вещам. Отвечая “британец”, вы указываете, что являетесь “британским подданным”, т.е. гражданином государства, называемого Великобританией или Соединенным Королевством. Отвечая “англичанин”, вы сообщаете тот факт, что принадлежите к английской нации. Вопрос о национальности делает возможными и приемлемыми оба ответа; это показывает, что на практике оба варианта обозначения нации не различаются достаточно четко и имеют тенденцию к взаимоналожению, а вследствие этого и к тому, что их могут путать. И все же если вы, отвечая на вопрос о национальной принадлежности, пишете “британец”, то тем самым вы сообщаете о совершенно ином аспекте вашей идентичности, чем в том случае, если вы пишете “англичанин”. Можно спутать государство и нацию, но это совершенно разные вещи, и принадлежность к ним включает вас в разного рода отношения.

Начнем с того, что нет государства без особой территории, удерживаемой воедино некоторым силовым центром. Всякий, постоянно проживающий в той области, на которую распространяется авторитет государства, принадлежит к государству. В данном случае принадлежность к государству имеет значение прежде всего законосообразности. “Власть государства” означает способность провозглашать и вводить в действие “закон страны”, т.е. правила, которые должны соблюдаться всеми подданными этой власти (если только само государство не освободит их от этого повиновения) и теми, кто хотя бы чисто физически окажется на территории этого государства. Если законы не соблюдаются, то виновные могут понести наказание. Их принудят повиноваться, хотя они того или нет. По существу государство притязает на исключительное право принуждать с применением физической силы (использовать оружие для защиты закона, лишать свободы



посредством заключения в тюрьму нарушителей закона и в крайнем случае убивать <преступника>, если перспектива исправить его ничтожна или нарушение закона признано настолько тяжким, что его нельзя простить или покарать каким-либо менее суровым, нежели смерть, наказанием; если умерщвление совершается по приказу государства (и только тогда), оно может быть разрешено и рассматривается не как убийство, а как наказание, которое само не наказуемо).

Другая сторона государственной монополии на физическое принуждение заключается в том, что любое использование силы, не уполномоченное государством или совершенное кем-либо иным, кроме уполномоченных агентов государства, осуждается как акт насилия (т.е. как “преступление” в отличие от инициированного государством “приведения закона в действие”) и, следовательно, влечет за собой уголовное преследование и наказание.

Законы, провозглашаемые и защищаемые государством, определяют обязанности и права подданных государства. Наиболее важной обязанностью является уплата налогов, т.е. отдача части своего дохода государству, которое забирает ее и использует по своему усмотрению. Права могут быть *личными* (например, защита своей жизни и собственности, если только это не определено иначе решением уполномоченных государственных органов, или право на собственные мнения и верования), *политическими* (воздействие на состав и политику государственных органов, например, посредством участия в выборах корпуса представителей, которые затем становятся управителями или администраторами государственных институтов) или *социальными* (гарантии со стороны государства элементарного прожиточного минимума и удовлетворения основных потребностей, которых либо принципиально нельзя достичь в одиночку, либо — усилиями лишь конкретного индивида). Именно сочетание таких прав и обязанностей делает индивида подданным государства. Первое, известное нам о том, что такое быть подданным государства, заключается в следующем: сколь бы неприятным оно ни было для нас, мы должны платить подоходный налог, налог на добавленную стоимость или подушный налог; но со своей стороны мы можем подавать жалобы властям и просить их помощи, когда наносится ущерб нашему телу или имуществу, и требовать возмещения этого ущерба; мы полагаем, что следует винить государственные органы (правительство, парламент, полицию и т.п.) тогда, когда под угрозой какая-либо из наших постоянных потребностей (если загрязняются воздух и вода, отсутствует или недостаточен доступ к здравоохранению или образованию и т.п.).

Тот факт, что подданство государству является сочетанием прав и обязанностей, заставляет нас чувствовать себя одновременно и защищенными, и угнетенными. Мы наслаждаемся относительным спокойствием жизни, которым, как мы знаем, мы обязаны некой наводящей страх силе, которая всегда на чеку, готовая выступить против нарушения закона. Мы нисколько не задумываемся над альтернативой. Поскольку государство является единственно законным судьей, отделяющим разрешаемое от неразрешимого, и поскольку введение в действие закона государственными органами есть единственный метод сохранения и упрочения такого разделения, постольку мы полагаем, что если государство уберет свою карающую десницу, то вместо нее воцарится повсеместное насилие и вступит в действие “закон джунглей”. Мы полагаем, что обязаны своей безопасностью и душевным покоем государственной власти и что без нее не было бы ни безопасности, ни душевного покоя. Однако во множестве случаев мы сопротивляемся назойливому вмешательству государства в нашу частную жизнь. Нередко нам кажется, что государство навязывает нам слишком много правил, чересчур придирчивых к нашим удобствам; мы чувствуем, что они ограничивают нашу свободу. Если *охранительная* забота государства позволяет нам что-либо делать, планировать свои действия в



уверенности, что планы можно будет беспрепятственно выполнить, то *подавляющая* функция государства ощущается как лишение возможностей; из-за нее многие планы выглядят нереальными. Таким образом, нам внутренне присуще неоднозначное восприятие государства. Может получиться так, что оно нам и нравится и не нравится одновременно.

А уж то, как эти два чувства уравниваются и какое из них преобладает, зависит от обстоятельств. Если я богат и деньги для меня не проблема, то меня прельстила бы перспектива дать своим детям лучшее образование, чем то, которое получает средний гражданин, и поэтому я, наверное, не приветствовал бы тот факт, что государство управляет школами и решает, какие дети (в зависимости от их места проживания) какие школы должны посещать. Если же мой доход более чем скромный, чтобы купить исключительное образование, то я буду склонен приветствовать монополию государства на образование так же, как и на защиту. Поэтому я, вероятно, буду возражать против призывов богатых людей ослабить контроль государства над школами. Я могу предположить, что как только дети богатых и влиятельных людей перейдут в частные школы, так государственное образование, предназначенное теперь только для бедных детей, будет хуже обеспечиваться, чем раньше, и тем самым утратит свои возможности.

Если бы я управлял фабрикой, то я бы, наверное, был доволен тем, что государство сурово ограничивает права моих работников на забастовки. Я счел бы это ограничение проявлением созидательной функции государства, а не подавляющей. Коль скоро такое ограничение касается меня непосредственно, оно увеличивает мою свободу, позволяя мне принимать непопулярные среди моих рабочих меры, делать шаги, на которые рабочие наверняка ответили бы прекращением работы, если бы им это было позволено. Я рассматриваю ограничение права на забастовки как средство, поддерживающее порядок и делающее окружающий меня мир более предсказуемым и доступным контролю; в таком “улучшенном” мире моя свобода маневра увеличивается. И наоборот, если бы я был рабочим этой же фабрики, то ограничение забастовок представлялось бы мне актом подавления моей свободы. Наиболее эффективное средство сопротивления хозяевам теперь мне было бы недоступно. Поскольку мои работодатели вполне осознавали бы эту мою ущербность, постольку они не рассматривали бы возможность возмездия с моей стороны как фактор, ограничивающий их свободу при разработке новых планов: я утратил бы большую часть своей способности торговаться с ними. Я не знал бы, сколько неприятных и губительных для меня решений со стороны работодателей может ожидать меня. В конце концов, мой мир стал бы менее предсказуемым, а я сам пал бы жертвой прихоти других людей. Я менее, чем когда-либо, ощущал бы, что контролирую положение вещей. Другими словами, то действие государства, которое мои работодатели воспринимают как *предоставление возможностей*, я считаю главным образом *подавлением* моих возможностей.

Итак, мы видим, что в зависимости от ситуации и от смысла вопроса некоторые люди могут переживать как увеличение своей свободы такие действия государства, которые другими переживаются как стеснение свободы, и, наоборот, чувствовать себя подавленными действиями, воспринимаемыми другими как расширение их возможностей выбора. Однако в целом все заинтересованы в изменении соотношения этих двух функций государства. Все предпочли бы максимально расширить предоставляемые им возможности и сократить до минимума необходимое подавление свобод. Понимание того, что является предоставлением возможностей, а что — подавлением, различно, но желание контролировать или по крайней мере влиять на соотношение этих двух функций одинаково. Чем большая часть нашей жизни зависит от действий государства, тем шире распространено и сильнее это желание.



Желая изменить соотношение между функциями предоставления возможностей и подавления, подданные государства требуют для себя все большего влияния на государственные дела и на законы, провозглашаемые и применяемые государством; они требуют реализации в жизни их гражданских прав. Быть гражданином — значит быть не только подданным (носителем прав и обязанностей, каковые определены государством), но и иметь право голоса в определении государственной политики (т.е. в определении этих прав и обязанностей). Другими словами, быть гражданином — значит иметь возможность влиять на деятельность государства и тем самым участвовать в определении и управлении теми “законом и порядком”, которые призвано охранять государство. Чтобы оказывать такое влияние на практике, граждане должны пользоваться определенной автономией, быть не зависимыми от государственного регулирования. Должны существовать пределы государственного вмешательства в действия индивида и его способность действовать. Здесь мы опять сталкиваемся с противоположностью таких функций государства, как предоставление возможностей и подавление. Однако на этот раз данные функции относятся к общей способности влиять на государственную политику и противостоять излишним амбициям государства, как только они возникают. Институт гражданства требует, чтобы государство само было ограничено в его способности ограничивать; чтобы государство ничего не предпринимало для сдерживания способности граждан контролировать, оценивать и влиять на его политику; и чтобы, напротив, государство было обязано оказывать содействие такому контролю и делать его эффективным. Например, гражданскими правами нельзя воспользоваться полностью, если деятельность государства окружена секретностью, если “простым людям” невозможно узнать о намерениях и деяниях своих правителей, если эти люди не имеют доступа к фактам, позволяющим им судить о реальных последствиях действий государства.

Отношения между государством и его подданными зачастую бывают напряженными, поскольку подданные вынуждены бороться за приобретение гражданских прав или за сохранение своего гражданского статуса, которому угрожают растущие амбиции государства. Главное препятствие, с которым они сталкиваются в этой борьбе, можно назвать “комплексом опеки” и “терапевтическим отношением государства”. Первый означает тенденцию обращаться с подданными как с несовершеннолетними, неспособными определить, что для них является благом и действительно служит их интересам, и тем самым неправильно понимающими действия государства и принимающими абсолютно неверные решения, которые государство должно исправлять и отлаживать, если не может пресечь их в корне. Второе относится к склонности государственных властей обращаться с подданными так, как врач обращается со своими пациентами, т.е. как с индивидами, обремененными проблемами, которые они не в силах решить сами, без руководства и присмотра экспертов, “внутренними” проблемами тела и души, требующими указаний и присмотра, чтобы пациенты воздействовали на свое тело согласно предписаниям врача.

С точки зрения государства подданные являются прежде всего объектами государственного управления. Их поведение рассматривается как то, что должно строго ограничиваться правами и обязанностями, определенными государством; если государство отрицает такое ограничение, то подданные начинают определять свои действия сами, зачастую к несчастью своих сотоварищей и своему собственному, поскольку преследуют эгоистические цели, делая совместную жизнь неудобной или вообще невозможной. Поведение подданных, как кажется, постоянно нуждается в указаниях и предписаниях. Государство, подобно врачу, призвано поддерживать здоровье подданных и защищать их от болезней. Если же подданные ведут себя не должным образом, то это всегда означает, что (как и в случае с болезнью) что-то не



так с самим субъектом. Необходимо раскрыть внутренние, личные причины недуга с тем, чтобы надсмотрщик (государство как врач) мог бы предпринять шаги, ведущие к исцелению. Аналогично отношениям врача и пациента, отношения государства и его подданных *асимметричны*. Даже если пациенты могут выбирать врачей, то как только врач выбран, пациенту остается лишь слушать и повиноваться. Теперь врач говорит, что делать пациенту, ожидая от него подчинения, а не рассуждений. В конце концов, пациент не знает причин болезни и путей ее излечения или ему недостает силы воли для того, чтобы действовать в соответствии со своими знаниями (в целом врачи, прикрываясь специальными знаниями, следят за тем, чтобы это невежество пациентов и вытекающая из него их зависимость сохранялись). Требуя подчинения и безоговорочного повиновения, врач объясняет, что делает это для блага самого пациента. Государство оправдывает свои притязания на неукоснительное исполнение своих указаний тем же способом. Его власть — это пастырская власть: она применяется “во благо” подданных, нуждающихся в защите против их же собственных дурных наклонностей.

Асимметрия отношений наиболее отчетливо проявляется в потоке информации. Врачи, как известно, требуют от пациентов полного доверия. Они просят больных полностью раскрыться, поведать о каждой детали их жизни, которую врач может счесть относящейся к делу, поделиться самыми потаенными секретами, какими бы интимными они ни были и как бы тщательно ни скрывались от других людей, включая друзей и близких. Однако сами врачи не отвечают пациентам такой же искренностью. Информация о пациентах держится в секрете, как и заключения врачей, складывающиеся на основе полученных от пациента сведений. Врач сам решает, какую информацию следует довести до сведения пациента. Отказ в информации опять же объясняется благом пациента: излишек информации может ему навредить — повергнуть его в состояние депрессии, безнадежности, сделать его безрассудным или непослушным. Такая стратегия секретности практикуется и государством. Оно собирает весьма подробную информацию о своих подданных, государственные институты обрабатывают и хранят ее, в то время как сведения о действиях самого государства расцениваются как “государственная тайна”, выдача которой наказуема. Поскольку большинство подданных государства не имеет доступа к таким тайнам, то те немногие, которые его имеют, получают заметное преимущество перед всеми остальными. Свобода государства собирать информацию вкупе с государственной практикой секретности еще больше углубляют асимметрию взаимоотношений. Шансы воздействовать друг на друга разительно неравны. Таким образом, гражданство также имеет тенденцию сопротивляться устремлениям государства к командным позициям, о чем говорят попытки раскрутить государственную власть в обратном направлении, освободить важные сферы человеческой жизни от государственного контроля и вмешательства и вместо этого подчинить их самоуправлению. Такие попытки развиваются в двух взаимосвязанных, но все же разных направлениях. Одно из них — *регионализм*, т.е. когда государственная власть является естественным противником местной автономии; фактически это любая промежуточная власть, стоящая между государственными органами и подданными; она противостоит исключительности государственной власти. Специфика местных интересов и проблем преподносится в качестве достаточного основания для самоуправления местными делами; доказывается необходимость местных представительных органов, которые будут ближе к народу и более чувствительны к специфическим местным интересам, более ответственны за их реализацию. Второе направление — *экстерриториальность*. Государственная власть всегда строится на территориальной основе, все обитатели данной территории, независимо от других их особых характеристик, являются подданными только государственной власти; именно этот принцип здесь и подрывается. В качестве более



существенных на первый план выдвигаются другие характеристики, а не место обитания. Раса, национальность, религия, язык могут выступать как более важные характеристики человека, гораздо более весомые для человеческой жизни в целом, нежели совместное проживание. Их право на автономию, на отдельное правление является насущным и направлено против принуждения к единообразию со стороны унитарной территориальной власти.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах всегда есть пусть незначительная, но напряженность и недоверие между государством и его подданными. Чтобы обеспечить дисциплину своих подопечных в таких условиях, государство, как и любая власть, добиваясь и требуя дисциплины для упорядочения поведения своих подданных, нуждается в легитимации: ему нужно убедить своих подданных в существовании весьма веских оснований для того, чтобы они подчинялись приказам государства, даже если не имеют доступа ко всей его информации; они должны подчиняться его приказам просто потому, что они — приказания государства. Основное предназначение легитимации — обеспечить веру подданных в то, что все, исходящее от государства и несущее на себе печать соответствующих властей, *заслуживает* подчинения, и постоянно поддерживать убеждение в том, что подчиниться *должно*. Человек должен следовать закону, даже если он не уверен в его разумности, даже если ему не нравится то, что закон требует делать. Человек должен следовать закону просто потому, что он поддерживается легитимной властью, поскольку, как сказано, это “закон страны”.

Цель легитимации — создание безоговорочной приверженности государству, которая наилучшим образом обеспечивается, если основывается на чувстве “это моя родина — плохая или хорошая, но моя”. А если это моя родина, то я только выиграю от ее богатства и могущества. Поскольку ее богатство и могущество зависят от всеобщего согласия и сотрудничества, от сохранности порядка и мирного сосуществования всех жителей, постольку я должен думать, что этот наш общий дом будет сильнее, если мы все станем действовать согласованно ради того, что служит нашему общему благу. Наши действия должны руководствоваться патриотизмом — любовью к родине, желанием укреплять ее и делать все, чтобы она была сильной и процветающей. Постоянным долгом патриота является дисциплина; на самом деле подчинение государству служит самым ярким признаком патриотизма. Любое сомнение в государственном законе возвращает несогласие, и уже поэтому (независимо от сути дела) оно “непатриотично”. Легитимация стремится к поддержанию подчинения посредством рациональных доводов и подсчетов: для всех будет лучше, если все и каждый будут подчиняться. Консенсус и дисциплина делают всех нас богаче. В конце концов, каждому согласованные действия более выгодны, чем раскол, даже если согласие требует от меня подчинения политике, которую я не одобряю.

Однако все подсчеты предполагают и противоположные доводы. Если патриотическое подчинение требуется во имя разума, то вполне можно попробовать подвергнуть эти доводы проверке разума. Можно подсчитать цену подчинения нетерпимой политике по сравнению с выгодой, которую может принести активное противодействие ей. Можно обнаружить или убедить себя в том, что в конечном счете сопротивление менее накладно и требует меньших затрат, нежели подчинение, и что оно покрывает издержки отказа от согласия. Попытки легитимировать потребность в подчинении ссылками на выгоды, приносимые единством, вряд ли когда-либо были вполне последовательны. Именно потому, что легитимация представляет себя как продукт рационального подсчета, и до тех пор, пока она себя так представляет, она уязвима и сомнительна, постоянно нуждается в закреплении и защите.



С другой стороны, приверженность нации свободна от внутренних противоречий, отягощающих дисциплину в отношении государства. Национализм, призывающий к безоговорочной преданности нации и ее благополучию, не нуждается в ссылках на разум и расчет. Он может позволить себе и не обещать выгод или благ за верную службу делу нации. Он взывает к повиновению как к ценности самой по себе и ради самой себя. Принадлежность к нации понимается как судьба, которая сильнее любого человека, как свойство, которое нельзя принимать или устранять по собственной воле. Национализм предполагает, что есть нация, которая дает индивиду его тождественность (идентичность). В отличие от государства нация не является ассоциацией, в которую вступают для того, чтобы способствовать реализации общих интересов. Напротив, именно единство нации, ее общая судьба предшествуют любым соображениям интереса и действительно придают этому интересу значение и вес.

Государство, которое может полностью идентифицировать себя с нацией (что, разумеется, не относится к многонациональной Великобритании), т.е. национальное государство, может использовать потенциал национализма вместо попыток с меньшей надежностью легитимировать себя, ссылаясь на подсчеты выгоды. Национальное государство требует подчинения на том основании, что оно выступает от имени нации, и поэтому дисциплина по отношению к государству, как и подчинение общей национальной судьбе, являются ценностью, которая не служит никакой иной цели, являясь целью себя самой. Неповиновение государству — наказуемое преступление — теперь становится чем-то еще более худшим, нежели нарушение закона: оно превращается в предательство дела нации — в гнусный, безнравственный поступок, лишаящий совершивших его достоинства и вытесняющий их из человеческого сообщества. Вероятно, благодаря соображениям легитимации и сохранения единообразия поведения и существует вообще некое взаимное притяжение между государством и нацией. Государство стремится присвоить авторитет нации для укрепления собственных требований дисциплины, а нация стремится оформиться в государство, чтобы завладеть силовым потенциалом государства для поддержки своих притязаний на преданность. И все же не все государства являются национальными, не все нации имеют свои государства.

Что такое нация? Это необычайно трудный вопрос, на который нет ответа, удовлетворяющего всех. Нация не является такой же “реальностью”, как государство. Государство — это “реальность” в том смысле, что оно имеет четко очерченные границы как на карте, так и на поверхности земли. Границы охраняются вооруженными силами, поэтому случайное пересечение границы между государствами, въезд и выезд наталкиваются на вполне реальное, осязаемое сопротивление, которое позволяет государству чувствовать себя “реальным”. В пределах государства существует совокупность обязывающих законов, которые, опять же, “реальны” в том смысле, что пренебрежение ими, как если бы они не существовали, может “обернуться боком” тому, кто их игнорирует. И наконец, существуют вполне определенная территория и четко определенная верховная власть, делающие государство “реальным” и ясно определенным как жестокая и упрямая вещь, которую никак нельзя игнорировать. Однако этого нельзя сказать о нации. Нация от начала и до конца — воображаемое сообщество; она существует как нечто единое до тех пор, пока ее члены духовно и эмоционально “идентифицируют себя” с коллективным образованием, большинство других членов которого они никогда лично не узнают. Нация становится духовной, ментальной реальностью, поскольку она как таковая воображается. В самом деле, нации обычно занимают некоторую протяженную территорию, которой, как они вполне достоверно утверждают, они придают особую окраску и характер. Но очень редко эта национальная окраска придает территории единообразие, сравнимое с тем, которое



навязывается единством “закона страны”, устанавливаемого государством. Вряд ли нации могут претендовать на монополию проживания на данной территории. Практически на любой территории живут бок о бок люди, идентифицирующие себя с различными нациями, к преданности которых взывают разного рода национализмы. На многих территориях ни одна нация не может признать себя большинством, но может считаться достаточно господствующей, чтобы определять “национальный характер” страны.

Верно также и то, что нации различаются и объединяются по признаку языка. Но то, что принято называть общим языком и различными диалектами, в большинстве случаев является результатом националистического (и зачастую оспариваемого) решения. Как правило, местные диалекты настолько специфичны по своему словарному запасу, синтаксису и идиоматике, что едва ли могут служить средством взаимопонимания для всех жителей территории, их специфическая идентичность отрицается или активно подавляется; им отказывают в праве быть самостоятельными языками из опасения нарушить национальное единство. И напротив, даже сравнительно незначительные различия в диалектах могут быть преувеличены до такой степени, что диалект возводится в ранг отдельного языка и в ранг специфической особенности отдельной нации (например, различия между норвежским и шведским языками, голландским и фламандским, украинским и русским вряд ли более существенны, чем различия между многими “внутренними” диалектами, которые представляются (если вообще признаются) как разновидности одного национального языка). Кроме того, некоторые группы людей могут признавать и использовать общий язык, но считать себя разными нациями (англызычные валлийцы или шотландцы, многочисленные англоговорящие в странах бывшего Британского содружества, австрийцы, швейцарцы и сами немцы, говорящие на немецком языке). Или, как, скажем, швейцарцы, они могут затушевывать очевидные различия употребляемых ими языков

Территория и язык являются недостаточными факторами для того, чтобы признать нацию как “реальность” по одной, но существенной причине: в них можно, так сказать, передвигаться туда и обратно. В принципе можно сменить национальную принадлежность; можно обосноваться среди людей той нации, к которой не принадлежишь; можно овладеть языком другой нации. Если территория поселения (напомним, что эта территория не имеет охраняемых границ) и участие в языковом сообществе (напомним, что человек не обязан пользоваться только определенным национальным языком лишь потому, что другие языки не признаются властью предержащими) были бы единственными определяющими чертами нации, то нация оказалась бы слишком “расплывчатой” и “неопределенной”, чтобы претендовать на абсолютную, безоговорочную и исключительную преданность, какой требуют все формы национализма.

Это требование более всего достижимо, если нация трактуется как *судьба*, а не как *выбор*, как “факт”, настолько глубоко и скрупулезно обоснованный в прошлом, что человеку не под силу изменить его в настоящем; как “реальность”, которую можно поправить лишь на страх и риск самого исправляющего. Национализм в целом стремится именно к этому. Его главным инструментом является *миф о происхождении нации*, который толкует о том, что даже если изначально нация и была созданием культуры, то в ходе истории она стала воистину “естественным” феноменом, запредельным для человеческого контроля. Нынешние представители нации, как утверждается в мифе, связаны воедино общим историческим прошлым. Дух нации — их общее и исключительное достояние. Он объединяет их и в то же время отделяет от всех остальных наций, от всех людей, которые стремятся вступить в их сообщество, не имея права или способности влиться в этот национальный дух, который наследуется коллективно, а не приобретает частным образом.



Поддерживаемая мифом претензия на “естественность” наций, на “предопределенность” и наследуемость национальной принадлежности не может служить источником противоречий в национализме. С одной стороны, утверждается, что нация — это приговор истории, и ее реальность столь же объективна и ощутима, как и реальность любого природного явления. Однако, с другой стороны, нация — сомнительное образование: ее единство и солидарность все время находятся под угрозой, поскольку другие нации пытаются переманивать к себе ее представителей, а также внедрять своих в ее ряды. Нация должна защищать свое существование; сколь бы естественной она ни была, ей трудно выжить, не будучи бдительной и не прилагая для этого усилий. Поэтому национализм обычно требует власти, т.е. права использовать насилие, с тем чтобы обеспечить сохранность и преемственность нации. Лучше всего для этой цели подходит *государственная* власть. Власть государства, как мы видели, означает монополию на орудия насилия; только государственная власть способна навязать единые правила поведения, принять и обнародовать законы, которым все должны повиноваться. Таким образом, как государству нужен национализм для своей легитимации, так и национализму требуется государство для большей жизнеспособности. Национальное государство является продуктом этой взаимной потребности.

Как только удастся отождествить государство с нацией (представив его как орган самоуправления нации), так шансы национализма на успех резко возрастают. Национализму уже больше не надо полагаться лишь на убедительность и последовательность своих аргументов, на желание своих представителей принять их. Теперь в его распоряжении имеется другое, гораздо более действенное средство. Государственная власть означает возможность принудить к исключительному использованию национального языка в государственных учреждениях, судах и представительных органах. Кроме того, она означает возможность мобилизации общественных ресурсов для повышения конкурентоспособности избранной национальной культуры вообще и национальной литературы и искусства в частности. Наконец, она означает контроль над образованием, которое становится одновременно и свободным, и обязательным, так что никто не может быть исключен и не может избежать его влияния. Всеобщее образование позволяет всем проживающим на территории государства усвоить ценности господствующей в государстве нации: сделать их патриотами “от рождения” и таким образом утвердить на практике то, что провозглашалось в теории, а именно — “естественность” национальности.

Совокупное воздействие образования, вездесущего жесткого культурного давления и предписываемых государством правил поведения сопутствует формированию образа жизни, ассоциируемого с “национальной принадлежностью”. Эта духовная связь иногда проявляется в осознанном и четко выраженном этноцентризме — убеждении, что моя собственная нация и все относящееся к ней правильно, нравственно одобряемо и прекрасно, своя нация представляется намного выше любой другой, и тому, что хорошо для своей нации, должно отдавать предпочтение перед интересами кого бы то ни было другого. Даже если такая явно этноцентричная, групповая философия особенно и не превозносится, то все же факт остается фактом: вырастая в специфическом, культурно сформированном окружении, люди склонны там и только там чувствовать себя как дома, в безопасности. Условия, в чем-то не соответствующие привычным, обесценивают приобретенные навыки и тем самым вызывают чувство неловкости, смутной озлобленности и даже враждебности, направленной на “чужаков”, якобы виновных в этом замешательстве. Манеры чужаков расцениваются как свидетельство их отсталости или высокомерия, а сами чужаки воспринимаются как незваные гости. Хочется отделить их или убрать совсем.



Национализм вдохновляет, инициирует склонность к культурным крестовым походам с намерением изменить образ жизни чужаков, обратить их в свою веру, заставить их подчиниться культурному авторитету господствующей нации. Цель таких крестовых походов — ассимиляция. (Первоначально понятие “ассимиляция” было заимствовано из биологии; для того чтобы прокормить себя, живые организмы ассимилируют элементы окружающей среды, т.е. преобразуют “инородные” вещества в клетки и ткани своих собственных организмов. Тем самым они делают их “схожими” (ассимилированными) с собой; то, что раньше было отличным, становится подобным.) Несомненно, все разновидности национализма подразумевают ассимиляцию, поскольку нация, “естественное единство” которой декларирует национализм, первоначально должна быть образована посредством объединения зачастую безразличного и разнородного населения вокруг мифа и символов национального отличия. Попытки ассимиляции становятся наиболее очевидными, в них наиболее полно проявляются внутренние противоречия тогда, когда торжествующий национализм, достигший государственного господства над определенной территорией, обнаруживает среди обитателей этой территории какие-нибудь “чужеродные” группы. Обычно эти группы либо сами заявляют о своем национальном отличии, либо воспринимаются как отличные и национально чуждые тем населением, которое уже испытало на себе воздействие культурной унификации. В таких случаях ассимиляция часто представляется как миссия обращения, во многом сходная с обращением язычников в истинную веру.

Как это ни парадоксально, но попытки обращения имеют тенденцию к вялости, нерешительности, словно опасаются чрезмерного успеха. Они несут на себе печать внутреннего противоречия, постоянно присутствующего в националистическом мировоззрении. С одной стороны, национализм провозглашает превосходство своей нации, национальной культуры, национального характера. Поэтому считается, что привлекательность нации для окружающих ее народов — это что-то само собой разумеющееся; в самом деле, желание и попытки других присоединиться к славе нации являются свидетельством и еще одним подтверждением провозглашенного превосходства нации. Более того, в случае национального государства это еще и мобилизует общественную поддержку государственной власти и подрывает все другие источники власти, противящиеся навязываемому государством единообразию. С другой стороны, приток в нацию иностранных элементов, особенно когда он облегчается политикой “распростертых объятий”, гостеприимством принимающей нации, вызывает сомнение в “естественности” национальной принадлежности и тем самым подтачивает сами основы национального единства. Предполагается, что люди могут менять место пребывания по своей воле. Вчерашние “они” на глазах превращаются в “нас”. Это выглядит так, будто национальность — всего лишь дело выбора, результат принятого решения, которое, как и все решения, можно в принципе заменить и даже отменить вовсе. Ассимиляция, если она действенна, четко выявляет сомнительный, произвольный характер нации и национальной принадлежности, т.е. именно то, что национализм пытается скрыть.

Тем самым ассимиляция взращивает озлобленность против тех самых людей, которых культурное завоевание стремилось привлечь и обратить в свою веру. Теперь уже они представляются угрозой порядку и безопасности: они совершили то, что, согласно теории, не должно было бы быть возможным; своими (человеческими) усилиями они добились того, что считалось за пределами человеческой власти и контроля. Они показали, что якобы естественная граница на самом деле является искусственной и, хуже того, пересекаемой. Поэтому-то и трудно согласиться с тем, что их ассимиляция, провозглашенная в качестве цели националистической политики, действительно была успешной и полной. В глазах наиболее



подозрительных якобы ассимилированные личности выглядят скорее как оборотни: двуличные, потенциальные предатели, которые лишь притворяются — то ли ради личной наживы или имея в голове еще более низменные цели — теми, кем они на самом деле не являются. И пусть это не покажется парадоксальным, но именно успех ассимиляции подкрепляет мысль о том, что различия как были непреодолимыми, так таковыми и останутся, что “настоящая ассимиляция” фактически невозможна и что создание нации посредством культурного обращения — нежизнеспособный вариант.

В таком случае национализм может отступить на более жесткую и менее уязвимую расистскую линию обороны. В отличие от нации раса воспринимается вполне очевидно и недвусмысленно как естественная вещь, однозначно находящаяся за пределами человеческого влияния и контроля. Понятием “раса” обозначаются такие различия между людьми, о которых нельзя предположить, что они созданы человеком или что они могут быть предметом вмешательства и изменения посредством человеческих усилий. Зачастую понятию расы придается чисто биологический смысл (т.е. оно выражает идею о том, что индивидуальный характер, способности и наклонности тесно связаны с наблюдаемыми, внешними характеристиками вроде формы и размера черепа либо других частей тела или раз и навсегда предопределены качеством генов). В любом случае это понятие относится к наследственным качествам, передаваемым из поколения в поколение в процессе человеческого воспроизводства. Столкнувшись с расой, образование должно отступить. То, что определено природой, не суждено изменить никакому человеческому разумению. В отличие от нации раса не может быть ассимилирована; она может только “испортить” чистоту другой расы и понизить ее качество. Для того чтобы предотвратить это бедствие, чуждые расы надо отделить, изолировать, а лучше всего — убрать на безопасное расстояние, чтобы смешение стало невозможным, и тем самым оградить собственную расу от “порчи”.

Ассимиляция кажется прямо противоположной расизму, и тем не менее у них есть общий источник — стремление *воздвигнуть границы*, присущее националистической тенденции. И ассимиляция, и расизм представляют два полюса этого внутренне противоречивого источника. В зависимости от обстоятельств в качестве средства достижения националистических целей может быть использована та или другая стратегия. В любой националистической кампании постоянно присутствуют обе, ожидая своей очереди. Они, скорее, не исключают друг друга, а взаимно поддерживают и усиливают.

Национализм черпает свои силы из той роли, которую он играет в установлении и поддержании социального порядка, определяемого государственной властью. Он “конфискует” расплывчатую гетерофобию (т.е. неприятие всего иного, о чем мы говорили в главе, посвященной феномену “чужака”) и мобилизует ее на службу государству и на поддержку дисциплины, подчиненной власти государства. Тем самым он делает государственную власть более эффективной. В то же время он и сам использует ресурс государственной власти для формирования именно такой социальной реальности, которая создает новые резервы гетерофобии, а тем самым и новые возможности мобилизации. Поскольку государство ревностно охраняет свою монополию на насилие, постольку оно, как правило, запрещает все частные способы сведения счетов, как, например, расовое или этническое насилие. В большинстве случаев оно также осуждает и даже наказывает частные проявления дискриминации. Государство использует национализм, как и другие свои ресурсы, единственно с целью поддержания социального порядка (т.е. того, который определяется, поддерживается и подкрепляется государством) и одновременно пресекает его стихийные, случайные и, следовательно, беспорядочные проявления. Мобилизационный потенциал национализма затем будет задействован в соответствующей государственной политике, увязывая националистические чувства



и патриотические наклонности с государственным интересом предпочтительно недорогим, но престижным способом — ценой экономических, спортивных, военных побед, а также посредством ограничивающих иммиграционных законов, принудительной репатриации и других мер, ясно отражающих и определенно усиливающих популярную гетерофобию.

В большей части мира государство и нация исторически слились; государство использовало националистические чувства для укрепления своей власти над обществом и устанавливаемого им порядка, а попытки создания нации обращались к государственной власти для усиления единства, которое было признано естественным и не нуждалось в принудительном навязывании. Заметим, что факт исторического слияния государства и нации еще не является доказательством неизбежности такого слияния. Приверженность этнической группе, родному языку и обычаям не сводима к политической функции, к которой их привел альянс с государственной властью. Союз между государством и нацией никоим образом не предопределен; он является условным, конвенциональным.